

Чтение как авторская стратегия у Андрея Платонова

Мотив чтения, взаимоотношений с книгой – один из ключевых у Андрея Платонова. Сам он не только то и дело, на протяжении всего своего творческого пути, самоаттестуется как читатель, но прямо и открыто реализует это на письме. Например, повесть «Эфирный тракт» (1927) так густо насыщена образами, мотивами, темами, персонажами IV части «Записки от неученых к ученым» Н.Ф. Федорова (все эти аллюзии скрупулезно выявлены и прокомментированы Д.С. Московской, подготовившей текст повести к публикации во втором томе академического Собрания сочинений Платонова), что с первых же страниц возникает ощущение текста, написанного в продление Федоровского слова, разворачивание его «от произведения к тексту». Добавим, что эта практика творческого, активного чтения то и дело непосредственно описывается в повести, ее герои всегда и везде прежде всего читают и одновременно продолжают, «подхватывают» прочитанное, «пробрасывают» его вперед и дальше, не дают ему завершиться. В какой-то момент (разумеется, снова читая) они выводят этот механизм в общий эпистемологический закон: *«Природа – законченное время, законченное потому, что оно остановилось, а остановившееся время есть пространство, то есть сокровенность природы, мертвое лицо, в котором нет жизни и нет поэтому загадки. Каменный сфинкс страшен отсутствием загадки. Загадочно то, что имеет судьбу. В природе нет судьбы. Дальше от природы – в стихию свободы – в историю! Историю нельзя познать, предопределить: предопределенное несвободно и погасает желание его достигнуть. У Зун-Зойги есть прекрасные слова: история есть мир, цветущий в образе. Да, потому что образ есть движение, изменчивость. А изменчивость есть чудо и свобода, что присуще только жизни и истории. Природа же – образ окаменевший, и потому она не образ, а безобразия: образ не может быть стоячим, он – игра и движение».*

Основной тезис нашего доклада следующий: писание, главным образом, мыслится Платоновым как продолжающее, расширяющее, переизобретающее чтение ранее написанных, чужих и собственных текстов. В самой по себе этой установке нет ничего нового для теории литературы, в том числе современной Андрею Платонову. В схожем ключе в «Литературе и революции» (1923) теоретизирует Лев Троцкий: *«Новый класс не начинает творить всю культуру сначала, а вступает во владение прошлым <...> сортирует, перелицовывает, перегруппировывает его и уже на этом строит далее. Не будь этой утилизации «подержанного» гардероба веков, в историческом процессе не было бы вообще движения вперед».* Тот же механизм порождения новой литературной вещи по сути озвучен в программной для формального метода статье Виктора Шкловского «Розанов» (1921): *«...наследование при смене литературных школ идет не от отца к сыну, а от дяди к племяннику <...> в нижнем слое создаются новые формы взамен форм старого искусства, ощутимых уже не больше, чем грамматические формы в речи, ставшие из элементов художественной установки явлением служебным, внеощутимым. <...>. Каждая новая литературная школа – это революция, нечто вроде появления нового класса».* Новизна Платоновского читательско-писательского опыта заключается в том, что непосредственным заказчиком чтения-изобретения выступает здесь не будущее (литературы) и не настоящее в лице класса-гегемона, а само прошлое. Не-останавливаться, длиться, - здесь это именно его запрос и завет, прошлое тут – не «подержанный» гардероб», не отработанный художественный канон, а лицо, множество лиц, самостей, вопреки немоте, смерти заявляющих свое право на голос, продолжение, жизнь. Этот стратегический момент в авторском самоопределении Платонова мы возводим к Федоровскому сюжету «всеобщего воскрешения». Кратко представив в докладе его существо, мы хотели бы на конкретных примерах показать его базовую задействованность в Платоновской теме чтения как творческого, переизобретающего, в конечном счете воскрешающего занятия. В этом ракурсе, в частности, разберем, почему чтение почти всегда соположено у Платонова мотиву питания и образам хлеба. Попытаемся понять, почему Платонов не только много внимания уделяет описанию техники чтения-изобретения, но и уравнивает этот акт с техникой как таковой, прежде всего железнодорожной. Наконец, через

авторское позиционирование чтения как воскрешения мы попробуем увидеть особую Платоновскую трактовку темы и приема самовитого, осуществленного, реализованного слова. Эта интерпретация, полемическая по отношению к формальной традиции, будет проиллюстрирована на примередвух эссе 1940-го года, подготовленных к 10-летней годовщине гибели Маяковского - «О Маяковском» В. Шкловского и «Размышления о Маяковском».